

Надежда Нелидова

Бандит, батрак

Ты — мне, я — тебе

— Ой, ноженьки мои, ноженьки! К концу смены гудом гудут, ноем ноют. Только и дашь поблажку на конечной остановке. Забросишь их, опухшие, распаренные, на соседнее сиденье, скинув сланцы. А чаще и не скинув.

Народ — свиньи. («Швиньи», — шамкает одна бабушка-дачница, берущая штурмом, дерущаяся за свободное место). Бросают на сиденья запачканные сумки, шмякаются грязными огородными задами. И насрать, что после них чистая публика сядет...

Ноги мои, ноженьки, ластоньки мои бескрылые! Плотные аптечные чулки для вас — как мёртвому припарки. В других городах, ведаешь: пассажиры сами к кондуктору подходят, оплачивают проезд. Чудеса в решете! Потому понимают: кондуктор за смену натопчет километров тридцать. Для него каждый шаг как чугунный. А им, в свежинку, в прохладцу, в охотку — чего пару шагов не ступить?

Только не верю я. Вот ехал бы в автобусе нашем губернатор или мэр, или знаменитый

артист... Все бы повскакали: «Ах, ох! Автограф пожалте». А что им наш брат кондуктор... Не велика птица: обслуга, чего изволите, пшёл вон...

Вон компания подростков ввалилась: гомонят, гогочут. Протопали мимо меня берцами в самый конец автобуса, развалились, дурные журавлиные ноги в проходе раскидали. Руки бы у них отсохли, мимо проходя, расплатиться?

Нет, тётка, тащись через весь автобус, обслуживай. Они сидят — ты стой, переминайся, как лакей. Жди, когда они нарочно неспешно по карманам шарят, копеечки выуживают. А ничего, что тётка за смену курсирует за смену раз триста туда-сюда?

Раньше-то я на стройке ломила, штукатуром-маляром. Работка ничего, прибыльная. Когда красочку там, лак, клей импортный налево толкнёшь. Прораб: «Р-р-ры!» — а я ему: «Что я, жру твой лак?!»

Но двадцать лет назад врачи грыжу нашли, посоветовали лёгкий труд. Пришлось распрощаться и со штукатурками, и с малярами. Взяла газетку вакансий. Меня одно объявление в газете завлекло, чисто стихи. Видно, поэта для рекламы привлекли:

«Ты должна прекрасно выглядеть!

Ты должна быть «железной леди»: улыбаться, даже когда хочется кричать и плакать!

Ты должна быть выносливой как гранитный

камушек. В самые свирепые эпидемии оставаться неуязвимой, находясь в крохотном замкнутом пространстве мчащейся «капсулы»!

У тебя должна быть великолепная зрительная память: запоминать с первого взгляда проходящих мимо сотни людей!

Ты должна быть кристально честной, так как будешь иметь дело с материальными ценностями.

Ты должна ослепительно выглядеть! Впрочем, полгода работы у нас сделают тебя стройной как чинара!»

Молодая была, заинтриговало то поэтическое объявление. Кого, думаю, набирают? Космонавтов? Резидентов, Штирлицев? Служащих в банковские ячейки? Стюардесс?

Оказалось, господи прости, кондукторов на внутригородские рейсы. А материальные ценности — это засаленная кожаная сумочка с пятаками. А мчащаяся замкнутая капсула — раздрызганный маршрутный автобус.

— А вы и есть стюардессы! — с жаром принялась меня вербовать женщина из отдела кадров АТП. — Только те в небе, а вы на земле. Мы вам и униформу пошьём: голубенькую, с серебряными крылышками.

— Тогда уж с серебряными шинами шейте, — говорю.

В ту пору, в девяностые, это дело новое было.

Ну, как новое: в середине прошлого века катались в общественном транспорте кондукторши.

Потом их контролёры заменили, хватали «зайчиков» тёпленькими на выходе. Водитель сам продавал книжечки такие, по двадцать талончиков. Много продаст — премию получит. В автобусах зубастенькие железные коробочки развесили: компостеры. Отсюда выражение появилось: «Ах, не компостируйте мне мозги».

Смех и грех, меня больше соблазнило обещание про стройность и чинару. Я уже тогда аппетитный поросёночек была. А чем чёрт не шутит: возьму и похудею. Даже модные журналы советовали: «Ваши походка и осанка станут грациозными и изящными, если в автобусе во время поездки вы постараетесь удерживать равновесие, не хватаясь за поручень». А тут не одна поездочка, а десять кругов каждый день придётся наматывать.

Правда, не помогла мне эта гимнастика. Вишь, как разнесло. Но приноровилась, просачиваюсь, протекаю ртутной капелькой в проходе. Стиснутые пассажиры только охают, попискивают и возмущаются, что таких толстух набирают в кондукторы. Уволить, мол, меня надо за профнепригодность.

Какие мы нежные. Ничо-о, не в международном самолёте летите, потерпите. Не нравится — ездите в такси.

М-да... Вот он, лёгкий труд. Спящего на заднем сиденье здорового бомжа растолкала и еле выпроводила — теперь из салона кислую вонь за всю смену не выветришь.

Пока с ним возилась, одна старая клюшка кассету с яйцами на сиденье опрокинула. Нашкодила — и бочком, бочком к выходу. Я её перехватила в дверках — она двинула локтём в мой большой пах — и выкатилась горошком. Вон они какие, тренированные, нынешние пенсионерки.

Я-то до пенсии точно не доживу. Вся на нервах, работа пёсья. И в паху ноет и ноет — надо бы до больницы добраться, да всё некогда. Время летнее, отпускное, некого на подмену поставить.

Из салона несёт адским пеклом, как из раскалённой духовки. Кажется, брызни дождик — обшивку зашипит. Но дождика нет — и места свободного в автобусе нету. Народу битком — а бабкино сиденье пустует. Понятное дело, никто на растёкшиеся желтки садиться не хочет.

— Кондуктор, почему у вас кресло грязное? Почему в автобусе вонь, как в бомжатнике? Ваша прямая обязанность — поддерживать в салоне чистоту и порядок!

— А ваша обязанность, — огрызаюсь на шибко грамотных пассажиров, — соблюдать в салоне чистоту и порядок. Я, что ли, насвинячила?

Ваш же брат пассажир. Мне бы зайцев успеть обилетить.

О, зайцы, это отдельная поэма! Мальчишечка один, школяр, пристрастился бесплатно ездить. На свой страх и риск пару раз закрыла на него глаза. На третий легонько к выходу подтолкнула: «Кто за тебя, Филиппок, платить будет? Дядя Ваня Мичурин?»

Так весь автобус на меня набросился. Господи, господа: их бы воля — живьём сожрали. Ох, зол человек пошёл. Ей Богу, будто моих пассажиров в целях эксперимента год держали в клетке и озверином кололи. А потом тот опытный загон отомкнули и всем скопом — в мой автобус.

Да как я посмела на маленького, да небось верзилу бы не вышвырнула, да только и умеете с о старыми да малыми воевать. Да вон у него какой огромный рюкзак: бедняжечку за ним не видно. Да протащить эту кондукторшу в газете, да в интернет её на всеобщий позор, да распни, ату её!

Тут я крепко испугалась, потому что у нас в АТП инциденты были. Напарница Вера отправила одну безбилетную молодайку пройти остановку пешочком. А молодайка и окажись беременной: под шубой-то не видно!

А на улице, как на грех, минус восемнадцать. Так эту историю месяц на первых телеканалах во всей эРФэ тёрли-обсасывали. Как будто других

новостей у нас уже и нету, кроме этой новости № 1, и во всём остальном сплошной рай и коммунизм.

На все телешоу подряд вызывали и молодайку, и Веру эту несчастную. Один старик из зрителей затрясся, клюкой замахнулся и ей в лицо плюнул. И вся студия — ну аплодировать стоя, прямо овация. Прославили бедную Веру на всю страну. Нашли овцу отпущения.

Вера на первом этаже живёт, так какая-то молодёжь, активисты, у неё окна камнями перебили. Всю ночь скандировали:

— Фа-шист-ка! Фа-шист-ка!

А она, между прочим, одна троих детей поднимает. И обнаружь контролёры в её автобусе «зайца» — вычли бы из Вериной зарплаты штраф, как у миленькой. Как хочешь, так и мечись между двумя огнями.

Начальство вызвало и сказала:

— Всё понимаем, Вера, но увольняйся. Нам такая слава не нужна.

Именно после Веры у нас в АТП штатный психолог появился. И вот, как тот психолог учил, я разумно и вежливо говорю:

— Граждане и гражданочки, рыбы мои, ведь меня за этого ребёнка оштрафуют, мама не горюй.

Так один молодой человек по карманам начал шарить — долго так, с издёвкой, показательно шарил, чтобы все видели. Наскрёб мелочь — и мне

с размаху в лицо: «Подавись, мол». До сих пор в глаз левомицетин капаю — пятирублёвиком попало, краснеет и слезится. М-да, народ — швиньи.

Говорят, жульничает, мухлюет с билетами наш брат кондуктор... А я так скажу: это разве жульничество? Да по сравнению с тем, как *наверху* воруют — это ж мы сявки жалкие. Это нам как молоко за вредность.

Скрывай — не скрывай — а все кондукторы уж с утра знают, на какой линии и в какие часы будет лютовать контроль. Сарафанное радио донесло: до обеда на маршруте чисто.

На животе у меня рулончики билетов. Я делаю вид, что отрываю от рулончика, а сама с треском рву припасённый в рукаве угол газеты и выдаю пассажиру использованный билет. Этих билетов полная железная урночка при выходе — пригоршней черпай. Ещё немного — и смене благополучный конец.

Успела, а то со встречного маршрута Валентина сигнализирует: контролёрши поменяли дислокацию, перебежали на мой маршрут. Без рабочей солидарности в нашем деле никак.

Ох, кормилицы, ноги мои, ноженьки! Опять на обед заработали. А я вас за это дома прохладную

ванночку наведу, ментоловой мазью намажу, в капустные листья оберну. Заброшу на валик дивана, на подушки — и сериал включить: лучшее снотворное.

Но это вечером, а сейчас на конечной остановке — сделаю массажик. Шофёр Коля из кабинки высунул смеющееся потное лицо, нос картошкой:

— Давай тебе профессиональный массаж сделаю! Гарантирую: понравится!

Я ему устало кулаком погрозила:

— Много вас, охотников! У тебя жена есть — ей делай!

Хороший он водитель, Коля. И человек хороший, лёгкий. От того, с кем работаешь, очень настроение зависит. И психолог говорит:

— У вас работа публичная. За окном может быть пасмурно и холодно. А у вас в салоне чтобы всегда солнышко светило. И солнышко это — вы.

Ещё бы нормальной зарплатой то солнышко подзарядить. Одна ядовитая дамочка ткнула тощим, острым наманикюренным пальцем в мою грудь, уязвила:

— Ваша профессия жалкая и унижительная, — говорит. — Всю жизнь с протянутой рукой.

Я не обиделась, легко согласилась:

— Да, матушка, с протянутой. Но ведь для вас же, не себе в карман.

Взрослые — они как дети, только взрослые. Чуть что, капризничают, топают ножками, всяко обзываются. Обманывают наивно, по-детски.

Вон тощая пассажирка, моя ровесница, зыркнула цыганистым глазом. Отвернулась к окошку, бросила сквозь губу:

— Льготный проездной.

Я культурно попросила её предъявить пенсионное удостоверение. Снизошла, показала высунутый из кармана уголок книжицы. Я — хватать книжицу. И что?! Старый комсомольский билет! От шкрыдла!

Пассажирка, сверкая дегтярными глазами, оправдывалась, мол, кошелёк дома забыла. Что, дескать, развалится автобус, если её три остановки провезёт?

Не развалится, матушка. Ну, да и ты не развалишься, если ножками эти три остановки протопашь. Ну, люди! Разве придёт им в голову зайти в магазин и цопнуть буханку хлеба даром? На том веском основании, что кошелёк забыли, а магазин без одной буханки не развалится и не обеднеет?

И опять весь автобус против меня взбунтовался. Тоже пассажирская солидарность. Чего только в свой адрес не услышала. И что зверствуем, что только и знаем цены на проезд поднимать, а по маршруту бегают древние

развалюшки. Ладно, Коля в микрофон пригрозил тормознуть. Дескать, с места не сдвинется до тех пор, пока буча не прекратится.

А пенсионерка, ссаживаясь, обозвала меня напоследок жабой, жирной пучеглазой. Так и живём.

На крылечке Любу уже ждали приبلудные кошки. Встали, нервно, волнами подёргивая спинками и хвостами (драгоценные шкурки переливались), тёрлись о Любины ноги. Ждали завтрака: копчёных обрезков, колбасных хвостиков, лужицы молока из прорванного пакета.

На каком бы месте ни устраивалась Люба — о том тут же прознавали все местные бродячие кошки. Глядь: опять у неё сытенько нежатся под прилавком, пузами кверху.

Сколько Люба через них получала нагоняев и даже штрафов от санитарной службы. А как их выгонишь?! Живые ж души! Вот у тех, кто кошек заводит и потом выбрасывает — души чёрные, как дёготь. И бродить им на том свете вечно бездомными кошачьими тенями.

Если бы Любу спросили, что в человеке первично: корысть и зло — или доброта, щедрость и совесть (слова «альтруизм» она не знала) — она бы ни на минуту не усомнилась. Конечно, добро и совесть.

Человек изначально рождается абсолютно, кристально честным и совестливым. Это уже потом нарастает всякая накипь, плесень.

Иначе почему, если человек нечаянно оставит на прилавке покупку или кошелёк — первым Любиным произвольным, автоматическим, инстинктивным порывом бывает крикнуть:

— Гражданин рассеянный, ничего не забыли?

— А?! Что?! — испуганно дёргается гражданин.

Тут ему и снисходительно вручается находка. Хотя свидетелей нет: можно равнодушно смахнуть в карман — и морду валенком: поди докажи. Видеокамеры нет, не додумались ещё, слава Богу. А ведь не раз и суммы солидные в разбухшем от купюр кошельке оставлялись, и серёжки золотые падали. Но срабатывает природная честность.

Обвесы, обмеры, обсчёты — это не в счёт, это другое. Это испокон веку заведено, вроде игры между продавцом и покупателем. А не будь лапшой, держи ухо востро!

И то, когда юная Любаша пришла в торговлю — первым-то жестом было сдачу вернуть сполна, товар взвесить до грамма. Понадобилось время, чтобы заматереть, попривыкнуть, усыпить в себе её, непрошенную честность. Перебороть, перешагнуть через себя, сломать, совершить над собой насилие, сердцу обрасти шерстью. Густой и

чёрной, как на хозяине фруктовой палатки Алике.

Но ведь эта-то ломка как раз доказывает, что в человеке изначально заложено хорошее, честное. Портят его жестокие обстоятельства. В Любином случае обстоятельством был хозяин фруктовой палатки Алик. На вопрос молоденькой продавщицы о зарплате гортанно рассмеялся: «А сколько за дэнь *свэрху* сдэлаэшъ — всё твоё».

После Аликовой фруктовой палатки Люба много где работала в системе торговли. Условия там были не такие дикие и средневековые. Соглашалась только на белую зарплату и полный соцпакет. Жила, училась, познавала маленькие профессиональные лукавства.

Допустим, на развесе, прежде чем паковать сахар-песок в мелкую тару, оставляла рядом с раскрытым мешком ведро воды. Через сутки ведро было сухим — а сахар значительно влажнел и тяжелел. Потому — продукт ги-гро-ско-пич-ный! Химию надо в школе учить, граждане!

Или просроченные ценники перепишет — это само собой, классика жанра. Или срежет со списанного сыра пушистую зелёную плесень — и обратно его на прилавок.

В кулинарном магазине, грешна, мухлевала с одноразовой посудой. Выбирала из корзины немятые использованные пластиковые тарелочки и стаканчики, не сломанные ложечки и вилочки.

Споласкивала под краном — а чаще и не споласкивала — и снова в дело.

Спасибо Митрию Анатоличу, родимому. За его «хватить кошмарить бизнес» — торговля, общепит и разная прочая фармация — должны ему из золота памятник в полный рост отлить.

Ему что: сказал, как в лужу дунул. А сколько народу было, есть и будет одурачено, облапошено и отравлено, когда и насмерть... Это ли Любе не знать. И-и-и, кто его считал, обиженный народ-то.

А самый-то главный двигатель торговли, не только торговли — прогресса! столп мироздания! — это свято соблюдаемый принцип: «Ты — мне, я — тебе». Делиться надо уметь, граждане: с кем надо, когда надо и сколько надо, засекайте себе на носу. И тогда всё будет в шоколаде.

Люба всегда имела в день рублей триста-пятьсот притошки. Иначе и день прожит зря. А всё ради кого? Всё ради света в окошке, исключительно ради любимой и единственной внучки Анечки, худенькой черноглазки, в бабушку. Вместо папки в свидетельстве о рождении прочерк. Мамка усвистала с кавалером. А Анечка выросла устойчивая, строгая и ответственная, в бабушку.

По бабкиным торговым стопам не пошла.

Выбрала работу хлопотную и безденежную: медсестрой в хирургии. Глаза вечно красные, воспалённые, не выспавшиеся, под ними тёмные полукружья.

В первое время страдала, убивалась, плакала втихомолку, с каждым пациентом болела и умирала. Потом вроде попривыкла. Люба сделала вывод: чтобы стать профессионалом с большой буквы — всегда нужно перешагнуть через себя, зачерстветь, ожесточиться. Немножко дать коже — задубеть, сердцу — обрасти шерстью.

Анечка простодушно радовалась золотым серёжкам, новому пальто и красивым дорогим сапожкам. А откуда бабка берёт деньги — ни к чему ей знать, пачкаться в эту грязь.

Не от мира сего: вся в работе, в своей больнице, в своих стационарных пациентах. Читает толстые книжки — собирается поступать в медицинскую академию. Хочет стать хирургом, как Сергей Ильич. Он для неё первый кумир и авторитет на свете. Дома только и щебечет: «Сергей Ильич пожурил...» «Сергей Ильич в пример всем поставил...»

Оперяйся скорей, ластучушка, и лети навстречу своему счастью. Всё ради тебя, милая. Вот неужели Люба не заработала себе на такси, чтобы проехаться с ветерком в прохладе? Но она садится в раскалённый, битком набитый автобус, а

если повезёт — и задаром прокатится. Копеечка к копейке — рубль: Анечке на будущую учёбу.

Ехать на работу три долгих остановки. Чаще удавалось прошмыгнуть зайчиком: Люба маленькая, худенькая, в невзрачном платице. Сразу нырала на свободное место, прикрывалась журнальчиком или отворачивалась к окошку.

Сегодня кондукторша попалась вредная, пристала как банный лист. Сама толстая, глаза пустые, выпуклые, стеклянные. Жаба. У такой проси — не проси, на коленки становись — не сморгнёт. Для этих случаев Люба имела в кармане комсомольский билет, где на фото она сама: ещё девчонкой с озорными косицами.

Люба уже на пенсии, дважды в месяц густо чернит седину. А вышвырнули из автобуса с позором, на виду у добрых людей, как ту девчонку с комсомольской фотокарточки.

Так вдруг стало обидно. Кто она, кошка безродная, что жизнь пинает и пинает её под задницу? Очень, очень обидно.

По ту сторону прилавка замаячил, завихлялся очередной тип. Намётанным взглядом видно: трубы горят. А сам, видно, блатной, только из отсидки. Лоб страдальчески сморщен мелкой гармошкой. Лицо обтянуто синюшной кожей. Глаза круглые, вытарщенные, испуганно-отчаянные. Как будто

увесистый кабачок в задницу с размаху вогнали, а обратно вытащить забыли.

Вот сейчас надрывно рванёт пиджак: «И-эх, ды скока я порезал, скока перерезал. Ды скока душ погубил...». Рот беззубый, проваленный, как у старика — а сам молоденький.

Анькин ровесник, поди. Только девчонка вкалывает сутками — а этот шпендрик синий от татушек. Приплясывает, пританцовывает от нетерпения, только что чечётку не бьёт. Ишь, приспичило.

Круглые блёклые глаза стреляют туда-сюда, в поисках чего стырить. Люба, на всякий случай, глубже задвинула ящичек в кассе. Водку ему подавай. Счас, разбежался.

— После десяти не отвариваем.

Шпендрик завибрировал, задохнулся от возмущения:

— Дык, ещё три минуты до десяти! Быстрее, а, тётяшка?!

— Паспорт.

— Бли-ин, тётяшка, да мне двадцатник стукнул.

— Паспорт.

Шпендрик тоненько завыл: «Уй-ю-юй! Без ножа режешь, тётяшка».

Племянничек выискался. Люба листала занюханый паспорт (потом не забыть руки

помыть, ещё лобковую вошь или какую другую пакость подцепишь). Делала вид, что вчитывалась в потрёпанные страницы. Как кондукторша сегодня — в Любин комсомольский билет.

Краем глаза наблюдала за настенными большими круглыми часами. И когда долгая стрелка подползла и вздрогнула на 12, удовлетворённо захлопнула паспорт:

— После десяти не отовариваем.

Ныка (откинувшийся со срока на днях) вразвалочку шагал по центральной аллее парка и энергично общался с дружбаном по мобиле. В разговоре Ныка использовал ненормативную лексику привычно, как междометия, для связки слов.

Конец мая, деревья в болотно-зелёной жиденькой плесени, пахнет сладкой гнилью... Июнь, а уж жарко. Ныка расстегнул курточку: хороша свобода-сука! Вот и корешка по телефону нашёл, а с ним хату и хавчик.

Общаясь, Ныка не без удовольствия заметил, что вокруг него образовался вакуум, пустое пространство. Гуляющие под ручку пенсионерки, молодые девчонки с колясками — торопливо, кто испуганно, кто брезгливо, обегали и объезжали его. Его конкретно боялись.

Это Ныке понравилось. Он прибавил звук на

полную мощность. Сыпал срамными словами уже весело, беззубо щерясь, оглядываясь и отмечая реакцию окружающих.

Там, на зоне, не было существа забитее и пугане Ныки. Питался на полу у двери. Столом служила полусгнивший, воняющий мочой деревянный круг. Каждый раз после обеда он его оттаскивал в уборную и закрывал им унитаз, как крышкой.

Вместо полотенца — половая тряпка из мешковины. Ложка чудная — деревянная штукovina, на одном конце выдолблена выемка-черпачок. Им Ныка зачерпывал суп и кашу. Туда любой мог плюнуть, сморкнуться или ещё чем похуже опростаться. Другой, толстый округлый конец был скользок от вазелина. Как Ныка его ни отмывал под краном, вонял калом. Для разработки.

За что сокамерники столь жестоко обошлись с Ныкой, за какие дела он вообще загремел на зону — не играет значения и не имеет роли. Совать нос в чужие дела, знаете... Ныка сам пострадал за любопытство: кончик носа у него был срезан бритвой по касательной, розовел молодым нежным шрамом.

Даже отрядная любимица, пушистая кошка шархалась и брезгливо огибала Ныку за метр: иначе последует жестокая порка за уши.

Ныка шёл по пустой аллее, кум королю. Понтово выбрасывал кривоватые тощие коленца в фасонистых брючках, лыбился голыми розовыми дёснами, матерно шамкал в трубку, распугивая народ. Он, жалкий Ныка, был хозяином аллеи. А раз аллея центральная в городе, то и, считай, хозяином города!

Хорошо! Улица — моя, дома — мои!

Навстречу шла молодая семья: спортивный парень, молодая жена, совсем соплюха зелёная, ковылял на толстеньких ножках ребёнок лет трёх.

Все трое омерзительно чистенькие, по-летнему в светлых футболках, в кипенно-белых шортах. Видно, что жизни не нюхали.

Ныка поддал в голос громкости, блудливо скользнул глазом по гладкому розовому бедру девчонки. В тему выхаркнул в мобильник особенно грязное словцо. Типа, шалашовка отпадная мимо шлётрает... Жопка ништяковая, кругленькая... Отыметь бы её... В жопку-то круглую.

Краем глаза видел, как сжались кулаки у парня, как он шагнул к нему... Вот, ей Богу, чуть не обделался Ныка со страху слабым испаханым, уработанным кишечником. Но девчонка повисла на локте парня: «Гриш, не связывайся! У таких всегда нож за пазухой...» Он и сник, опустил глаза. Ссыкло.

Ножа у Ныки не было: он что, совсем

ушлёпок? При первом шмоне за ношение холодного оружия навесят то, чего было и не было... Но он, довольно ослабившись голыми дёснами, сунул худую слабую руку глубоко в карман и даже оттопырил: будто там и в самом деле чего водилось. Навёл палец на малыша: «Пу!»

Эх, видел бы кто в этот момент Ныку! Он, не глядя, брякнулся на скамью, вертя головой на тощей жилистой шее: кого ещё поддеть. Аллея испугалась Ныки — и опустела, вымерла.

— Кого я ви-ижу! Ныка своей персоной! — ласково пропел знакомый голос. На скамейке, хозяйски разбросав гориллы лапы, широко расставив ножищи, сидел вонючий бомжара.

Типун на язык Ныке! Это с точки зрения окружающих тот был бомж — а в бараке носил крепкое, покойное, нейтральное звание «*мужик*» . И кличку имел подходящую, достойную: *Земеля*.

Сегодня утром Ныка оказался с ним в одном автобусе. Там, как того требовал уголовный этикет, работая локтями, он должен был со скоростью пули пробиться в другой конец салона и панически выпрыгнуть на первой остановке.

Чего не сделал, а, вопреки иерархической лестнице, передал через него кондукторше горсть чьих-то пассажирских пятак. Коснулся мужика *неприкасаемой осквернённой* рукой. Да нечаянно

он, святой истинный крест! Не видал, не видал он Земелю!

Хмельной воздух свободы сыграл с Ныкой, как с профессором Плейшнером, злую шутку. И теперь, вскочив со скамьи как ужаленный, разом съёжив плечи, слишком узкие для пиджака, покорно ждал своей участи.

— Не парься, Ныка, — великодушно снизошёл знакомец. — Моли боженьку, чтоб никто из наших твоего косяка не видел. А я — могила. Швейцарский банк. С тебя причитается. Давай дуй за водярой, пока тикает.

Ныка полетел к винно-водочному магазину, что называется, впереди собственного изображения. Пиджачишко, как парус, надувало ветром.

... Как славно начинался день и как паршиво для Ныки кончился. Пацан, с кем перетёр насчёт ночлега — внезапно и безнадёжно исчез из зоны доступа. И эта роковая встреча с Земелей в автобусе, потом на скамейке — ни к чему хорошему не приведёт... У зэков своё государство в государстве. И ещё неизвестно, чьё крепше — так-то вот. Восточки, особо такого щекотливого, деликатного свойства, типа Ныкиной оплошности, разлетаются быстрее шуганных воробьёв.

Особенно бесила чернявая прошмандовка в винно-водочном, отказавшая продать водку.

Подбоче-енилась стоит. По морде видно: доставляет удовольствие издеваться над Ныкой.

И мучило недоумение: зачем она так?! Ведь выгодно ей, старой манде: наоборот, прибыль. В данном вопросе у продавцов что-то вроде солидарности со страждущими. А этой — то ли вожжа под хвост, то ли моча в голову. Коза крашенная. Старая шкрыдла. Мужики мало дерут, небось, не хватает — вот и бесится.

Сейчас продавщица, небось, дрыхнет сладким предрассветным сном. В этом многоэтажном доме... Или в том. А Ныка плетётся, как бездомная собачонка. На автостоянке плотными рядами стояли понтовые навороченные авто. Не, ну почему одним всё, а другим вазелиновый член в задницу?! Взял и двинул ботинком по лаковой автомобильной дверце.

— Тиу-тиу-тиу! — с готовностью пронзительно завопила сигнализация. Получай, продавщица хренова! Ныка залез под грибок на песочнице, затаился — наслаждаться звуками.

Никто не выскочил с проклятиями на балконы и лоджии — высотный дом мёртво молчал. Терпилы, ссыклы.

Но Ныка знал: это дом снаружи молчит. Там, внутри, в недрах тёплых сонных зашторенных спален, где-то заплакал разбуженный ребёнок. Взметнулась растрёпанная чувырла, продавщица.

Какой-нибудь задохлик-пенс схватился за сердце и окочурился. Что, гады, вставил вам Ныка по это самое?

Через минуту автомобильные вопли заткнулись: хозяин отключил сигнализацию с пульта. Решил, что кошка. Ныка ещё посидел. Пускай законопослушные граждане задремлют, потеряют бдительность. И, уходя, подпрыгнул не хуже Джеки Чана, злорадно шарахнул ногой по стеклу другого автомобиля. И второго. И третьего.

— Яу-яу-яу!

— Ква-ква-ква!

— Плю-плю-плю! — разнообразно, заполошно заверещали машины.

Теперь можно тикать в кусты. Славная музычка, концерт для фортепиано с оркестром, век бы слушал. Хорошо! Улица — моя, дома — мои!

Уже были пройдены все стадии бессонницы. Сначала зевота и недоумение («Что-то сегодня не выспался»). Потом хроническая тяжесть, отрешённость и мучительное желание рухнуть и уснуть на месте. И, наконец, тупое лошадиное смирение и приспособливание: жить и работать на автомате. Засыпать в ту же минуту, где присел и прилёг, и даже стоя — тоже как лошадь. Эти несколько перехваченных минут дрёмы были для Сергея Ильича равносильны тому, что для других

часы полноценного сна.

Если бы существовал детектор бессонницы — подсоединённый к Сергею Ильичу, он бы издал дурной вой, замигал всеми разноцветными лампочками, задымился штекерами и проводками — и погас, умер.

Это при том, что работа Сергея Ильича требовала ясной головы и строгих и точных, как ход часовых стрелок, движений пальцев.

Он работал хирургом на две ставки. Ночные дежурства, экстренные операции — а таковых оказывалось больше, чем плановых, бесконечные подмены... В последнее время хирургия всё больше приобретала женское лицо. А женщины — это декреты, дамские недуги, вечные бюллетени по уходу за детьми. Сергей Ильич хорошо понимал коллег: у самого росли дочки-близняшки.

Конечно, была дача, поездки в деревню к тёще. Но уверовавшие в золотые, волшебные руки молодого хирурга, родственники больных звонили в ночь-полночь. Вылавливали на даче, в деревне, из гостей в соседнем городе, со дна морского... Мужчины падали на колени, женщины рыдали: «Спасите доченьку (сынка, отца, мужа, брата)! Только вы, только вам...».

Нужно было не дёргать, избавить жену и тёщу от драматических, душераздирающих сцен коленопреклонения и лобызания. И Сергей Ильич

на отдыхе потихоньку превратился в домоседа. Отправлял семью, сам оставался домовничать.

Выдавшуюся нежданно-негаданно ночь полноценного сна он воспринял как дар судьбы. Позволил себе неслыханную, непростительную вольность: отключил телефон. Если что-то из ряда вон, экстраординарное, за ним пришлют неотложку.

Он уже забыл, когда видел сны. Всегда просто проваливался, как в чёрный картофельный подвал. А сегодня приснилась девушка: худенькая, милая, робко влюблённая. Она шла впереди, оборачивалась и улыбалась. Не порочно, не зазывно — просто ласково улыбалась.

Она будто с собой несла свечку, горящую ровным тихим, не колеблющимся огоньком, как в церкви. Она сама была той свечкой, тем огоньком. Сергей Ильич заморожено, как маленький мальчик, шёл за ней.

— Вау-вау-вау!

Плоские, мерзкие звуки выдернули Сергея Ильича из нежного туманного небытия. Колотилось сердце — с недавних пор он его начал чувствовать. Как будто кто-то вкрадчиво, мягко, настойчиво затягивал на нём, на сердце, узелок. Сергей Ильич кидал в рот таблетку, потирал грудь — узелок ослаблялся, развязывался до поры, до времени. Но не до конца.